

---

# Свободный жанр

---

Олег ЕРМАКОВ

## «КАЖДОЕ СЛОВО ПРОГРЕТО ЧУВСТВОМ...»

### *Письма А. Твардовского с войны*

**Аннотация.** Статья посвящена книге «Письма с войны 1941—1945», включающей 139 писем А. Твардовского жене с фронта. Письма последовательно рассказывают о событиях души, попавшей в очередной смерч истории. В них много интересного о личности поэта, о том, как создавались его поэмы. 139 писем стали необычной книгой любви и творчества во время войны.

**Ключевые слова:** А. Твардовский, М. Твардовская, В. Гроссман, М. Исаковский, К. Симонов, «Василий Теркин», «Дом у дороги», Афганская война, Великая отечественная война, письма.

Письма известных писателей, художников, путешественников никогда не вызывали у меня большого интереса, даже письма тех, чье творчество мною любимо. Воз-

---

Олег Николаевич ЕРМАКОВ, прозаик, автор книг «Знак зверя», «Запах пыли», «Вокруг света», «Арифметика войны», «Песнь тунгуса». Живет в Смоленске. Email: [ermakon@gmail.com](mailto:ermakon@gmail.com).

можно, не удавалось настроиться на волну, проникнуться чувствами и мыслями автора. Не исключено, что здесь сказывалось некое предубеждение. Письма воспринимались как нечто полуофициальное, даже дружеская переписка. Казалась неизбежной и фрагментарность писем, мозаичность, необязательность. Вот и письма пламенного Ван Гога, чьи работы продолжают волновать меня несмотря на то, что имя художника уже стало чем-то вроде популярного бренда и многим просто надоело, — письма эти не произвели должного эффекта, хотя в них сказывается и несомненный литературный талант.

Получив книгу со 139 военными письмами Александра Твардовского жене Марии Илларионовне, книгу, подписанную дочерьми поэта — Валентиной и Ольгой Твардовскими, я испытывал в большей степени радость коллекционера («Железную мистерию» мне подписала вдова Даниила Андреева), нежели предвкушение занимательного чтения.

Надо сказать, что письма Александра Трифоновича я уже читал в других книгах, это были письма, адресованные литераторам, читателям, иногда явным графоманам. Письма удивляли своей основательностью, дотошностью, широтой. И они добавляли штрихи к портрету поэта, но не становились самостоятельным явлением. Чтение можно было оборвать на том или ином письме или читать все вразброс. Это, конечно, интересно в первую очередь литературоведам, критикам, наверно, поэтам — в письмах много высказываний, условно говоря, «цеховых».

Военные письма?.. Но как раз именно это обстоятельство и не сулило ничего особенного. Мне довелось послужить в армии, ведущей боевые действия, и я, как и все другие, отлично знал, что можно писать и чего нельзя сообщать родным и друзьям в далекий Союз. Забегая вперед, замечу, что и сам Александр Трифонович в своих письмах не однажды об этом поминает, поэтому ему так любви были письма с оказией. Но большинство писем шло полевой почтой.

Итак, письма, пропущенные военной цензурой.

Но предшествует им короткое предисловие дочерей поэта. Предисловие предельно ясное, четкое, с кратким

экскурсом в биографию Твардовского: здесь упомянуты значительные вехи его довоенной жизни — от знакомства в Смоленске с будущей женой и, собственно, до войны. А как раз перипетии смоленской жизни поэта не столь просты, зачастую приходится сталкиваться с противоречивыми и туманными сведениями об этом периоде. Предисловие — выверенный и ценный документ. Дочери поэта отличаются исследовательской добросовестностью в отношении наследия отца.

Письма начинаются с телеграммы жене, отправленной на следующий день после начала войны:

Вечером будет машина выезжай без крупных вещей договорись сторожихой = Александр [Твардовский: 19]<sup>1</sup>.

Как явствует из примечания, Александр Трифонович в первый же день уехал с дачи в Москву, где получил назначение на службу военкором в газету «Красная армия» Киевского Особого военного округа.

И потекли денечки, застучали колеса, загудели моторы, полетели письма полевой почты сперва еще в Москву, а потом в Чистополь, захолустный городишко на Каме, в Татарии, куда уже в июле были направлены «деятели литературы и культуры, органы правления творческих союзов из Москвы, Ленинграда и других районов. Более двухсот писателей, литературных и театральных критиков, художников, артистов и около 2 тысяч членов их семей переезжали в Чистополь с начала лета до конца октября» [Федорова].

В первых письмах поэта почти и нет войны, а только удивление: «Город необычайно красив, древен и молод одновременно» (с. 20), — речь о Киеве. И сразу забота об оставленной семье: «Живи на даче, если даже будет хуже с продуктами, чем в городе» (с. 20). Города в войну опаснее. Вскоре военный литератор убедится в этом воочию. Но еще

---

<sup>1</sup> Далее указания на страницы из книги писем Твардовского приводятся в тексте в круглых скобках.

бои идут под Киевом. Военкора отправляют на первое задание — и он не выполняет его: «В первой поездке я с непривычки (потому, что ничего подобного не видел в Финляндии) немного опешил и вернулся без единой строчки материала» (с. 25). Комментаторы разъясняют суть дела: Твардовский стал свидетелем расстрела немецкой авиацией Днепровской Краснознаменной флотилии. Как поведать на газетном языке об этом? Да и на любом другом языке, хоть и поэтическом? Для осмысления таких событий необходимо время. Но время не ждет. И уже со вторым заданием военкор вполне справляется. Правда, отношения с редактором не складываются. Но очерки, фельетоны, стихи идут один за одним. Поэт втянулся в службу. Ему ясно, что и стихи воюют. И даже мирные стихи — Сталинскую премию за «Страну Муравию» Твардовский передал в Фонд обороны. Это было собственное решение. Примерно в то же время такое же решение приняли Шолохов и Лебедев-Кумач. Эти трое и были первыми, а вовсе не Н. Тихонов, С. Михалков (с. 346).

Специфическое военное прозрение приходит быстро: «Сейчас мне кажется, что вся моя и моего поколения жизнь (до войны) была детская» (с. 24). Но все-таки эти слова скорее обращены к другим, тем, кто еще не нюхал пороха. А Твардовский уже побывал на кровопролитной войне с Финляндией. Но здесь он и выражает некое всеобщее прозрение. Ведь та финская война уже тогда была «незначительной».

Новая война расколола мир пополам. Дымы ее пожарищ зачернели страшными тучами, и на этом фоне мелькали птицами фронтовые письма солдат, офицеров и любимых ими женщин, детей. Метафору эту, впрочем, я позаимствовал у мирного отшельника-поэта, наблюдавшего в Древней Индии из своей пещеры полет ослепительно белой журавлихи на фоне туч. Это предвещало сезон дождей. А у нашего поэта — время войны. Несколько рискованное, это сравнение поэтов и эпох все-таки выявляет нечто существенное, а именно — созерцательную, по сути, природу поэтического таланта. Поэт и есть отшельник, следящий за происходящим. И ему необходима дистанция, а стихам, как вода, и воздух, и солнечный свет, по-

требна тишина. Всякий поэт и должен жить как тот древний индиец: на даче ли, на пятом ли этаже, но в «пещере»... А если на войне, в железном потоке, то какие тут могут быть стихи?

«Это тяжело, — признается поэт, — когда чувствуешь, что тут бы слова нужны такие, с которыми на смерть людям идти, а глядишь — стишки, какие мог бы написать и не я, и не выезжая из московской квартиры» (с. 23).

Но уже через два-три письма мы, читатели и ценители единственной в своем роде воинской поэмы, получаем сигнал: упоминание имени — Теркин. Пока это Иван Гвоздев, герой фельетонов, «Теркин на новом этапе», как уточняет Твардовский. А комментаторы добавляют, что Теркин — герой фельетонов еще финской войны.

Здесь еще только тень, намек, а на самом деле завязка одной из сюжетных линий этой книги.

То, что эти 139 писем — книга, понимаешь довольно быстро. Письма последовательно рассказывают о событиях одной души, попавшей в очередной смерч истории. Сам Твардовский, правда, утверждал, будто на войне нет сюжета:

На войне сюжета нету.  
— Как так нету?  
— Так вот, нет.  
Есть закон — служить до срока,  
Служба — труд, солдат — не гость.  
Есть отбой — уснул глубоко,  
Есть подъем — вскочил, как гвоздь.

И далее он уточняет:

На войне ни дня, ни часа  
Не живет он без приказа.

То есть герой и не герой вовсе, а некая игрушка в чужих руках — судьбы ли, генералов. Здесь высказывается мысль о том, что сюжета и, следовательно, какого-либо повествования достоин герой, наделенный волей. А какая же воля у солдата, если он даже портянки не может перемотать без приказа?

Так ли это?

Сюжет на войне есть. И поэт сам это утвердит.

Ветер злой навстречу пышет,  
Жизнь, как веточку, колышет...

Но *веточка*-то сопротивляется, не ждет обреченно. А это уже — воля к жизни. Лучшая иллюстрация этого сообщения — глава «Смерть и воин». Но более того, Теркиным и его собратьями движет еще и воля к победе. И ему со товарищи предстоит преодолеть невероятные трудности, чтобы эту волю осуществить. Военный поход за рунном победы — таков сюжет любой войны издревле.

Но мы забежали сильно вперед. Пока еще ни поэмы, ни успехов на фронте. Советские войска отступают, сдают города и веси. Твардовский тревожится о родных, оставшихся в Смоленске, надеется, что они успели уйти, переживает о своих братьях, младших командирах: «...а это должность такая, что всегда человек должен быть впереди. Боюсь углубленно думать об этом, мне очень жаль их. Это будет чудо — если они живы, если не попали ранеными в руки врага или что-нибудь подобное» (с. 29).

Он еще не знает, что младший брат Иван пленен финнами. Но чудо и вправду свершится со всеми Твардовскими: никто не погибнет в войну. Павел и Константин, а также Василий будут и дальше воевать, получают ранения. Теща будет блуждать по смоленским лесам с внуком, которого партизаны сочтут за сына земляка-поэта, о чем и попросят сообщить в телеграмме Твардовскому.

Война гудела и рвалась в Киев, где располагалась редакция газеты «Красная Армия». И наконец — ворвалась. Редакция уходила в числе последних. Твардовский откровенно называет это «драп-кроссом» и говорит, что не всем довелось спастись... И буквально тут же поэт успокаивает своего адресата насчет средств, которые буду пересланы одним человеком: «Чуточку легче тебе будет, моя многострадальная Машуня» (с. 34).

Приходилось не раз слышать о том, что у Твардовского нет любовной лирики в обычном понимании, точнее есть намеки на любовную лирику. В стихах о любви поэт как будто робеет. И уже кто-то заметил, что это объясня-

ется его воспитанием. Тема эта у Твардовского — прикровенна. Любовь — не для чужих глаз.

Но вот как раз в этих письмах поэт откровенен. Цензура? Так это же «машина», настроенная на пораженческие и политические идеи, на некие секретные военные сведения.

Все 139 писем Твардовского жене Марии Илларионовне согреты этим чувством, лучше сказать прогреты, — как писал сам поэт о каждом слове своей поэмы. Слова этих писем и прогреты его сердцем. Письма как бумажные фонарики, что летят под воздействием живого огня.

«Дорогая моя Машуня», «Дорогая моя девочка», «Дорогой мой дружок, милая Маша», «моя дорогая огородница», «сердитая моя жена» и даже «моя дорогая невеста» — так начинаются или заканчиваются все эти письма. Последнее требует пояснений, их мы находим, как всегда вовремя, в комментариях, составленных, напомним, дочерьми поэта:

Речь идет о регистрации брака А. Т. и М. И. соответственно Указу Президиума Верховного Совета СССР <...> Указ устанавливал более жесткую регламентацию прав и обязанностей супругов друг перед другом и перед детьми, усложнял процедуру развода <...> Предусматривалась и обязательная запись о регистрации брака в паспорте. Брак М. И. и А. Т. был зарегистрирован в Смоленске в 1930 году. В метриках детей А. Т. числился отцом [В. Твардовская, О. Твардовская: 411].

Но поэту многие вещи кажутся интересными, даже вот вроде бы и досадный какой-то бюрократический Указ о браке, и он с удовольствием обыгрывает эту ситуацию:

А как ты сама? Небось, мечешься и забываешь о том, что я не стану записываться в ЗАГСе с худущей и злой старухой, мне, человеку положительному, отправляясь в это почтенное учреждение на 35-м году жизни, желательно невесту потолще, добрей, поспокойнее. Учти <...> кормись получше и старайся войти в тело. Я уже здесь готовлюсь исподволь к свадьбе (с. 281).

Обновление любви неизбежно в моменты невзгод, испытаний. Это происходило и происходит с каждым, кто

любит, любим. Война — жесточайший момент истины. В одночасье здесь сгорает всякая труха. Новыми видит солдат своих родных и близких. И, конечно, дорожит разговором с ними как ничем другим. Полевая почта — это «Сезам, откройся!» — и солдат погружается в свет истинных сокровищ, и это свет дома, семьи.

Если из Кабула в наш полк не привозили почту, мы впадали в настоящее уныние. И наоборот, письма были самыми яркими праздниками в степных буднях. Редко кто сразу разрывал конверт и принимался за чтение. Нет, обычно письма читались с чувством, с толком, с расстановкой. Не впопыхах где-нибудь... А если и жадно заглядывались тут же, то вечером, после работ снова прочитывались при керосиновой лампе, в табачном дыму. И каждый солдат вдруг преображался, становился каким-то чужим, недоступным — далеким... Свежее письмо носили некоторое время в гимнастерке, потом перекладывали в тумбочку. Письма как будто создавали некоторую приватную территорию. По сути, ничего нет у солдата своего, да. А тут — вот оно.

По письмам Александра Твардовского видно, как ему дорога эта возможность разговора с любимой женой — и даже с одной из дочек. Старшая дочь Валентина, судя по всему, просила писем, адресованных ей лично. И отец иногда добавляет в письмо к жене, что большое письмо сейчас напишет и дочке. А младшей еще было совсем мало лет, родилась она за несколько месяцев до войны. И отец беспокоится о них, при первой возможности отправляет посылки с шоколадом, таблетками-витаминами и т. и. Делает это он со всеми отцовскими предосторожностями, просит, например, Марию Илларионовну не открывать загодя секрет посылки, а то, кто знает, дойдет ли и удастся ли вообще что-то передать.

В Чистополь ездили знакомые литераторы, Василий Гроссман, например. Его семья жила по соседству с семьей Твардовского. В Чистополе пребывал, как говорят, почти весь цвет советской литературы:

В город на Каме эвакуировались Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай Асеев, Арсений Тарковский, Константин



Паустовский, Александр Фадеев, Леонид Леонов, Михаил Исаковский, семьи Василия Гроссмана, Федина, Твардовского, Сельвинского. Думали — на несколько месяцев... [Федорова]

Жизнь там была довольно трудная. Из этой же публикации в «Совершенно секретно» мы узнаем подробности жизни этой писательской колонии:

«Жизнь в глухой провинции потрясла своей примитивностью и неустроенностью. Тогда я впервые осознал, что Москва по сравнению с остальной страной — иное государство, неизмеримо более цивилизованное и благополучное. В Чистополе мы попали в XIX век, если не дальше. Старые деревянные, осевшие в землю дома царских времен, не асфальтированные грязные улицы, отсутствие машин, водопровода, канализации. За водой мне приходилось ходить с ведрами и коромыслом к колодцу за несколько кварталов от дома, в любую погоду, да еще обратно дорога шла в гору, зимой — часто обледенелая. Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебойми. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками: баночка или бутылка с грубым растительным маслом (которым каша сдабривалась) и фитиль из веревки. Спичек не было, огонь добывали древним способом: с помощью зазубренной железяки — кресала, кремня и трута (жженой тряпки). Чиркали железкой по кремню, искры падали на трут, он начинал тлеть, и его раздували до огня», — вспоминает сын драматурга Владимира Белоцерковского Вадим [Федорова].

Тревога А. Твардовского была более чем обоснованна. Вот что сообщает журналист «Совершенно секретно» дальше:

Поэт-переводчик Александр Мирер сошел с ума от голода. Елена Санникова, жена поэта Григория Санникова, получив сообщение о смерти мужа, повесилась в 1941 году. Последней каплей для того, чтобы набросить петлю на шею, для художника Александра Плигина стала кража его хлебных карточек за целый месяц, что означало голодную смерть [Федорова].

И поэт при первой же возможности отправляет туда денежные переводы, просит жену не жалеть денег, он-де еще заработает. У самого у него уже начались проблемы со здоровьем: шатаются зубы и кровоточат десны.

Никак не способствовали плодотворной работе и сложившиеся отношения в редакции, в первую очередь — с редактором. Видимо, он и задавал тон. Твардовский пишет:

Хуже Долматовский и многие другие, которые прямо-таки оцепляют меня со всех сторон каким-то полубойкотом. Шипят, нагло обзывают чем-то, и уже нет ни сил, ни охоты отбрезиваться. Беда одна, что задумаешься: чем ты так обозлил людей, за что тебя ненавидят? А ненавидят очень. Стараются как-то дискредитировать тебя как человека, оглушить, осмешнить и т. п. (с. 62)

Сразу и не поверишь в прочитанное. Ненавидят? Твардовского? Или все-таки дело в характере поэта? Ведь приходилось уже читать о его «заносчивости», чуть ли не высокомерии. Тут ненароком вспомнишь и о его польских корнях, а именно полякам у нас приписывают «гонор».

Но некоторые разъяснения можно найти уже в этом письме. Твардовский пишет: «Я вновь поднялся в душевном, в моральном смысле и хочу именно работать как можно лучше» (с. 62). И эти требования он предъявляет и своим коллегам. Далее он пишет:

Чтоб иметь успех и прочее, нужно писать так, как я уже органически не могу писать. Полийчук (Так у Твардовского; правильно Палийчук. — О. Е.), с которым я одно время даже на пару работал, вышел из-под моего «гнета» (в смысле требований к языку и пр.) и понесся вовсю по пути сочинения стихов без всяких «вспышек» или «искр». Пишет по два, три в день, превозносят его, и он цветет (с. 62).

Ясно, такое отношение должно было раздражать. Да и лауреатство, конечно, тоже. Ну, возможно, и особенное чувство собственного достоинства... Или — «затейливый характер», по определению Юрия Трифонова. Александра Трифоновича времен уже первого редакторства в «Но-

вом мире» он характеризует так: «наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях...» [Трифонов: 477]

Маргарита Алигер в своих воспоминаниях говорит о нем так: «Человек скорее скрытный, во всяком случае неизменно сдержанный, и никак не склонный к пустой болтовне...» [Алигер: 391]

Но, пожалуй, уместнее сослаться на свидетельства именно военной поры. Одно из них мы находим в коротких записках Л. Кудреватых, фронтового корреспондента одной из центральных газет, повстречавшегося в конце войны с Твардовским, а до этого с сотрудником второй газеты, в которой поэту пришлось служить с 42 года, с полковником А. Бакановым: «— А Твардовский-то теперь у нас, в нашей редакции, — не без гордости сказал Баканов. — Мы с ним дружим. Хоть он и с трудноватым характером, но человек простой, свойский. Обязательно познакомлю тебя» [Кудреватых: 209—210].

Все это, конечно, надо иметь в виду. И помнить присказку отца героя «Жизни Арсеньева»: я не червонец, чтобы всем нравиться. Перед нами — живой человек, а не схема. У Твардовского скверные отношения с редактором «Красной Армии», полковником И. Мышанским, с другими сослуживцами, а, например, с Василием Гроссманом — отличные. В чем дело? Тут, правда, надо заметить, что Гроссман все-таки служил не в той же газете, а, так сказать, поблизости — в «Красной звезде». Но тем не менее. Твардовский о нем пишет в письме с оказией, то есть с самим Гроссманом, вырвавшимся на побывку к своим в Чистополь:

Нечего говорить, как хотелось бы мне тоже поехать, но нет и тени плохого чувства к человеку. А он, видимо, думает, что я ему очень завидую, хотя, нет, он слишком умный, чтоб так думать. Ты с ним там наговоришься. Он тебе будет живым письмом от меня, это мой лучший товарищ, который все хорошо и благородно понимает и оценивает. Признаюсь, совсем уныло здесь станет мне без него. Совсем один в известном смысле (с. 76).

В таком же тоне и все другие отзывы об этом незаурядном писателе. Хотя эти отношения проверялись на прочность бытовыми неурядицами: между женами Твардовского и Гроссмана возникла размолвка в далеком Чистополе. Но молодой Твардовский тут мудро уклоняется от *бабских* раздоров, лишь советуя жене все уладить миром. Он дорожит этой дружбой с *умным, прочным* человеком. Наверное, то же самое мог бы сказать о нем в те времена и Василий Гроссман. Это была дружба равных.

Впрочем, из области догадок и предположений можно перейти на более прочную почву. Когда Твардовский получил новое назначение, в редакции «Красной Армии» ему дали негативную характеристику, и он в своей объяснительной записке, приводимой в комментариях полностью, убедительно опроверг по пунктам эти обвинения. Насчет того, что им якобы мало было написано, поэт говорит, что по количеству публикаций уступает только одному сотруднику, Б. Палийчуку (которого мы уже упоминали выше), и лишь потому, что Твардовскому чаще приходилось выезжать на фронт. Дальше он трезво и обоснованно рассуждает и о качестве...

Ситуация, конечно, крайне неприятная. Кому из наших поэтов приходилось в подобном отчитываться? Ну да, царь вызывал на ковер Пушкина, но совершенно по другому поводу. Обычно поэт сам держит ответ — перед инстанциями повыше ГлавПУРККА (Главного политического управления Красной Армии). Но делать нечего, время военное, обвинения оскорбительные, «Теркин» еще не написан... И поэт скрупулезно продолжает разбирать характеристику. «Высокомерен и груб»? Может, такое впечатление сложилось, рассуждает поэт, из его споров на партсобраниях с редактором Мышанским? Или из отношений с теми литераторами, с которыми он и до войны не был дружен? А со старыми работниками газеты у него было полное взаимопонимание. Выпивка? «А кто не выпивал в нашей редакции? Выпивали все, когда было что». (Могу лишь заметить, что с тех пор армия не изменилась, и мы знали всего одного уникального трезвенника — неутомимого командира разведроты Тудвасева; но он вообще не переносил спиртного и выпил, кажется, один раз в жизни, на выпуск-

ном.) Следующий пункт и того хуже: «...не проявлял стремления больше бывать в частях фронта». Это, пожалуй, самое тяжкое обвинение, по сути — в трусости.

Но мы уже читали предыдущие письма, в которых, наоборот, есть жажда быть в деле. Вот, например: «Милая, кончаю письмо. Только что пришли и сказали, что нужно собираться в полет — командировка. Я уже немало тосковал по фронту» (с. 45). И это мужское чувство. Многих оно вело на фронт добровольцами. Об особенном свободомыслии фронтовиков уже сказано достаточно. Тот же Солженицын уходил на фронт правоверным коммунистом, но на войне сталинский стипендиат вдруг начал критиковать Сталина, правда, еще в поисках истинного марксизма-ленинизма. В письмах и дневниках он был откровенен и смел. За что и поплатился. И уже в лагере произошло окончательное крушение его мировоззрения. А началось все на фронте. Чувством свободы на краю жизни преисполнены и герои «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана. Конечно, в случае Твардовского сказывалась и неприятная атмосфера в редакции, — вырваться оттуда всегда хотелось.

Но послушаем самого поэта: «Сколько бы я ни ездил в действующие части — больше одних товарищей и меньше других, это всегда происходило по моим настояниям перед редактором и его заместителем, которые хотели, чтобы я больше сидел в редакции и писал юморески» [В. Твардовская, О. Твардовская: 366]. В письмах он об этом тоже ведет речь, что приходится настаивать на поездках на фронт, все верно. Но редактору подавай юморески... Да и всякому другому начальству тоже хотелось лишь бодрых реляций. Все рушится и пылает под бомбами фашистов, сотни тысяч бойцов оказываются в плену, а ты бодро пой победу. Сиди и пиши в духе Палийчука — да с ним вровень:

В тыл к противнику в разведку  
Скачет конник молодой.  
Глядь — фашистская танкетка  
Мчит дорогой столбовой.

Дальше — шарах! Летят гранаты и вот:

Уничтожена танкетка.  
Хорошо закончен бой.  
И с «добычей» из разведки  
Едет конник молодой.

(Б. Палийчук.

О хорошей разведке и подбитой танкетке)

А. Кондратович в своей книге «Александр Твардовский» цитирует письмо Твардовского Исаковскому, датированное мартом сорокового года, когда еще шла война с Финляндией. И там есть такие строки: «Короче говоря, мне открылся новый, необычайно суровый и вместе с тем очень человеческий, дружный и радостный мир. Я рад, что он стал доступен и понятен мне. Красную Армию я полюбил так, как до сих пор любил только деревню, колхозы» [Кондратович: 88—89]. И эти строки вдруг вызывают в памяти стихи и прозу Дениса Давыдова, там то же чувство воинского одушевления. Хотя, конечно, это лишь одна сторона войны...

Воронежский исследователь творчества поэта В. Акаткин приводит выдержку из воспоминаний А. Бека о Твардовском той поры: «Он много пережил, до краев наполнен впечатлениями, но как-то взбаламучен, закурен, много пьет» [Акаткин: 38].

Словом, нет никаких оснований ставить под сомнение солдатское достоинство поэта, и его доводы прицельно разящие.

Но сердце Твардовского эта история потрепала, покогтила, это уж так.

Твардовский был откомандирован в Москву. И здесь началась новая глава его военной судьбы. Один в каменной хмурой Москве. Чем-то эти эпизоды напомнили сцены из военного романа Дос Пассоса «Три солдата», скитания одного из героев по военному Парижу. Немцы тоже подступали близко к этой столице и бомбили ее. Герой Дос Пассоса, служа в армии, заодно начал ходить на лекции в Сорбонну и в конце концов оказался вне закона, ибо мирная жизнь властно влекла его. Конфликт между долгом и свободой закончился трагически.

Фигура нашего поэта лишь внешне напоминает этого несчастного героя Дос Пассоса. Для него долг и свобода со-

шлись счастливо в одной точке. Имя этого полюса — Теркин. Почти ликующе пишет Твардовский из пустой холодной московской квартиры жене в далекий Чистополь:

Ведь я давно уже не верю в эти фельетончики, давно хочу писать всерьез и давно уже понес из-за этого неприятности. Вот каковы дела. И надо ж было, чтоб в это самое время у меня явилась радостная мысль работать над своим «Теркиным» на новой, широкой основе. Я начал — и пошло, пошло. Когда я отделявал «Переправу», еще не знал, что втягиваюсь в поэму, а потом все сильнее втягивался, и вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить. Что это мой подвиг в войне (с. 117).

Сейчас для нас совершенно ясно, что это дело не уступает военной работе, которую мог бы исполнять Твардовский-офицер. Сердечные письма солдат красноречиво свидетельствуют об этом.

А пока он читает главы новой поэмы «на военной комиссии»: «Вечер прошел блестяще <...> — я даже испугался» (с. 118). И сразу все зашумели, засуетились, журналисты, издатели:

...звонят отовсюду, начинается ажиотаж вокруг поэмы (ненаписанной!); «Известия» предлагают немедленно начать печатание («там продолжите»), «Правда» грозит, что не возьмет на работу (боже, как трудно все в спешке объяснить — дело в том, что «Правде» подсказали, чтоб она просила откомандировать меня к ней), если не ей, первой, поэма. А все — дураки, чиновники, трусы, и неизвестно, из чего горячатся (с. 118).

В этих строках из письма жене хорошо слышно биение этих событий, почти виден вихрь, вдруг закружившийся вокруг письменного стола в огромной мрачной Москве. И очень понятна следующая реплика поэта из того же письма: «И нервы мои не выдерживают» (с. 118).

Да, вообще-то любому автору введома подобная горячка, но, как правило, это бывает, когда уже вещь готова и поэма, роман, повесть идут в люди. Но здесь речь о поэме ненаписанной. Что еще выйдет?! И выйдет ли?! Известно

суеверие некоторых авторов, которые до самого последнего срока даже не открывают названия своего нового творения. А здесь — пошли читки, слушания, публикации в газетах и журналах. Чтение глав началось и по радио. А поэмы-то еще и нет! Но все ждут, требуют, хвалят, надеются, обещают, выдвигают ультиматумы...

Ведь вот когда не вникаешь в эти подробности, то даже и тени сомнения не возникает при мысли о «Василии Теркине»: важному делу все помогали. За порогом — война. Да прямо тут же, в небе: «Сейчас выходил на балкон смотреть “сабантуй”. Среди бела дня высоко в небе ползет, оставляя белый следок, фриц, небо в белых точках разрывов, народ прячется в подъездах» (с. 124).

А «Василий Теркин» — как своеобразное письмо, адресованное каждому пехотинцу, артиллеристу, летчику, моряку. И посланий от Теркина многие ждали на фронте. Это как сто граммов боевых. Не думаю, что сравнение рискованное. Вообще, хорошая поэзия пьянит. На чужбине в военных условиях воздействие родной поэтической речи еще сильнее... Правда, пока бои шли на родной земле. Но уже рать собиралась с силами. И Теркин был среди этих солдат.

Но все было не столь просто. Например, судьба «Теркина» зависела и от того, где будет печататься поэма. А Твардовского хотели прикомандировать к *безвестному двухнедельному журнальчику*, как пишет он. То есть, по сути, поэму могли похоронить в недрах этого журнальчика. Ясно же, что площадка для этой ясной и чистой артиллерии — глав «Теркина» — должна быть шире и выше: «Правда», «Известия», «Красная звезда». Но какой же редактор потерпит это? Чтобы поэма его сотрудника печаталась на чужой площадке? Нам-то отсюда, из мирных лет, кажется, что вся страна и была такой общей площадкой. Ан нет! Ведомственных интересов даже война не отменила. (Снова сошлюсь на армейский опыт: в нашем полку было явное двоевластие, ну, или противостояние между командиром полка и начальником штаба, приказ одного мог отменить второй, и это всего лишь в масштабах одного полка, единого, так сказать, организма.)

Твардовский пишет Марии Илларионовне о том, что вокруг поэмы началась странная возня, *наверху* ее читают



якобы с недовольством и т. д. Да, поэт наконец-то в «пещере», и здесь-то и свершается его труд, но каково писать в электрических дугах всех этих слухов? Сквозь него и так проходит ток творчества, ток воюющего народа.

От поэта требуют убрать одно, другое. Придирки подчас просто смешны и нелепы. Ну, например, требуют смягчить такие строчки: «Был штыком задет в атаке — / Зажило как на собаке». Мол, слишком грубо. Это грубо? Да слышали ли эти товарищи родную речь в окопах? Речь своих охрипших солдат, завшивленных, голодных, почерневших от дыма, в мокрых сапогах и прожженных шинелях?

Вспоминается один эпизод отечественного кинематографа. Когда снимали «Они сражались за родину», эпизод ранения героя Шукшина, то Шукшин в ответ на участливый вопрос героя Буркова, мол, как ты, что с тобой? — ответил отборным матом — не по сценарию, разумеется. И, как свидетельствовали очевидцы, это все прозвучало очень естественно. Армейская речь и в мирной обстановке довольно забориста и солонна. А уж в военной — тем более.

Но товарищи в верхах морщились на эту невиннейшую строчку: «Зажило как на собаке». Оторопь берет от зашкаливающего сего фарисейства. Бросают тысячи в пекло, строчат знаменитый приказ «Ни шагу назад», воюют не уменьем, а числом — и пеняют поэту на безнадежность строфы:

И о смерти, кто отвык,  
Так, примерно, судит:  
Многих наших нет в живых,  
Что ж, и нас не будет.

А ведь здесь извечная философия солдата, высказанная со стоическим бесстрашием. И строфа-то вовсе не расслабляет, не ввергает в панические настроения, а настраивает так, как надобно.

Мария Илларионовна в своем письме признается (цитата из этого письма есть в комментариях): «Что-то происходит с Теркиным, я скорее чувствовала, чем знала. Примета была одна: прекратились читки Орлова. Если бы он хворал — не выступал, а то раза два его слышала после Теркина, но с другим материалом» [В. Твардовская, О. Твардовская: 387]. Орлов читал «Теркина» по радио. Исследовате-

ли творчества Твардовского говорят о заговоре молчания (см.: [Новикова]). Чтение поэмы на радио было прервано на год. Упоминания в печати поэмы почти исчезли. Так что Твардовский даже пишет секретарю ЦК Маленкову. И правильно делает. Нечего стесняться в такое-то время. Ведь на самом деле не о себе он печется, только глупец и завистник может так подумать...

«Время такое, когда одна судьба — песчинка» (с. 139), — заключает поэт. Но судьба «Теркина» уже не песчинка, в поэме зазвучали какие-то уже надличностные голоса, голоса глубинной породы самой нашей земли. Твардовский, как рудокоп, долго бил, копал — еще с финской войны — и внезапно ему в лицо пыхнуло светом этой породы.

Я пишу, как хочу, и знаю, что без всякой дидактики штука эта будет очень нужна и полезна. И люди, услышавшие первые ее отрывки <...> все почувствовали что-то, и все кругом *хотят* этой книги (с. 126).

Интересно, что, рассказывая потом историю возникновения замысла и создания поэмы, Твардовский забыл свои дневниковые записи еще сорокового года. Об этом говорит в своей книге А. Кондратович, он и приводит эту запись, называя ее автопророчеством:

При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, которая делает любовь к армии более земной, конкретной...

Одним словом, дай бог сил! [Кондратович: 100]

Позже, как замечает Кондратович, обнаружив в архиве эту запись, Твардовский и сам был немало удивлен. Нет, неспроста говорится о том, что у каждой книги есть своя судьба.

Можно сказать, что Теркин дремал, как Илья Муромец, ждал срока — и дождался. И это сравнение, кстати, хорошо оттеняет героя поэмы: он весьма обычен, даже невзрачен, а сказочна в нем эта драгоценная порода, которую и узрел, добыл поэт и поместил ее в самую сердцевину

ну образа солдата. И это захватило всех. Вот же, вот же оно — сияет...

Этот тихий свет сразу и охватывает, чарует читателя. Очаровал он даже классика Бунина в далеком Париже.

Теркина не мог бы написать коренной горожанин, не знавший деревни. Например, Симонов. О чем он сам и говорил однажды Твардовскому. Твардовский о Симонове пишет жене в Чистополь:

Без затруднений дело проходит лишь у современных Кукольников, у которых все гладко, приятно и даже имеет вид смелости и дерзости. Обратила ль ты внимание на первую авторскую ремарку в пьесе «Русские люди» (К. Симонова)? «На переднем плане — *русская* печь, дальше кивот с *иконами*». Как легко можно было бы продолжить: «русская баба печет русские блины, а русский человек ест их, запивая русской водкой, и матерится по-русски». Когда сущность заменяют названием, когда продают то, что не их собственность и не стоит труда, — тогда такое и получается (с. 131–132).

Трудно удержаться от современных аналогий. Ведь посмотрите-ка, то же самое и происходит на телевидении, в газетах, в соцсетях. В масть и одно стихотворное послание Твардовского Исаковскому, где есть такие строки:

Бог с ней — с бедною славою  
Рифмачей-кумачей,  
Усачей-лимузинщиков,  
Потребительских душ,  
Патриотов-алтынщиков  
И новейших кликуш.

Написано в 1946 году, а до сих пор аукается. Что и не снилось и не приснится всем новым поэтам и прочим авангардным культуургрегерам, норовящим спихнуть с корабля словесности А. Т. Т. Не получится, даже инициалы его как глыба.

Можно было бы решить, что в «пещере» Твардовскому и неплохо живется. Ерунда. Ему там хорошо пишется. Это главное. А так-то он тоскует по семье, шлет письма в Чистополь:

Машуня, целую тебя крепко-крепко, как будто встал из-за стола, а ты подошла ко мне, маленькая и родная, и припала ко мне всем своим милым телом и смотришь снизу своими умнейшими и строжайшими, но любящими глазами (с. 148—149).

Интересная особенность восприятия. Мне, читателю, видевшему фотографии Марии Илларионовны и читавшему некоторые ее опубликованные письма и предисловия, она вовсе не казалась маленькой. А тут вспоминаешь, что сам Александр Трифонович был довольно рослым, и покаянная поздняя фраза Солженицына о Твардовском-богатыре и в этом смысле не преувеличение.

О Марии Илларионовне многие отзывались самым лестным образом.

Мне посчастливилось услышать в телефонном разговоре с младшей дочерью Твардовских Ольгой Александровной буквально следующее: «Мама была для папы как струна».

Твардовский жене и сам признается: «А я без тебя пропаду, ты меня и на расстоянии держишь в смысле духа» (с. 137).

Твардовскому с женой повезло. Об этом можно судить и по военным письмам поэта. Мария Илларионовна — умный собеседник, не по обязанности супружеской вникающая в дела мужа. «Ты ведь любишь печатное слово» (с. 179), — замечает Твардовский. «Любишь» и «радость» здесь синонимы. В Москве Твардовский выписывает для жены газеты и журналы. Не забывает и старшую дочку: ей «Пионерскую правду» и журнал «Пионер». Еще и «Робинзона Крузо» в переработке Чуковского ей отправил.

Метафора Ольги Александровны удачна. Мария Илларионовна в письмах и звучит для вопрошающего, мятущегося, сомневающегося поэта струной, верно настроенной, не провисающей, чутко натянутой. По ней он и себя настраивает. Такого читателя — поискать. В комментариях приводится одно ее письмо о чтении артистом Дмитрием Орловым «Теркина», двух глав:

Из первой запомнился лес — с диким хмелем. Это действительно низинные приднепровские леса, только не настоя-

шие леса, а то, что как раз предшествует большому лесному массиву. Ели в таких лесах мало и больше ольха и осина. Большая Береза и Ель не любят захламленности, а хмель как раз там, где валежник, сырость и густота, чащоба [В. Твардовская, О. Твардовская: 384—385].

Как это все точно! Любой рыбак и приднепровский странник подтвердит эти наблюдения.

Еще один отклик Марии Илларионовны:

«Генерал», на мой взгляд, лучше, чем первая глава («Кто стрелял») <...> Мне думается, что очень просто выглядит сам факт попадания в самолет <...> Меня всегда брала досада в тех случаях, когда в коротких пятистрочных заметках газета сообщала: «Боец Артамонов сбил вражеский самолет». И даже не скажут как. Думаешь, если это так легко, — почему мало сбивают? Мне кажется, этот момент надо усложнить [В. Твардовская, О. Твардовская: 386].

Или вот еще:

Конечно, есть главы не равноценные <...> Лучше те, в которых есть сюжетная линия и Теркин дан в каком-то окружении <...> Те же главы, где он высказывается, хуже не потому, что плохо написаны, а потому, что уж такой закон — если в произведении один человек много говорит — болтун, а если к тому же весело и шутит — как Теркин, — он балагур. И тут в поэме не то что наметилось это балагурство, а подозревается опасность этого [В. Твардовская, О. Твардовская: 375].

И повышать в звании Теркина — до офицера — Мария Илларионовна отсоветовала. И Твардовский уже и сам понимает, что «Теркин с принятием “офицерства” утрачивает главное в нем: свободу души, речи, поведения, характера. А без этого — ему 15 коп. цена» (с. 265).

Мария Илларионовна — еще и просто заботливая жена: умудряется отправлять поэту посылочки то с чесноком, то с шиповником для его больных десен. Ну, или просит Александр валенки — это уже когда он стоял в Белоруссии в поезде, в редакционном вагоне, а семья выбра-

лась из Чистополя в Москву, — в валенки советует сунуть свитер. Тут у читателя мелькает почему-то определенная мысль, которая тут же и подтверждается: «Если в тот же валенок положишь случайно поллитровочку, то не будет лишней, т. к. водки у нас нет давно. Конечно, нужно, чтоб была хорошо закупоренная» (с. 263).

Дойдут до него валенки или нет? И будет ли в них что кроме свитера?.. Да это же письма, а не повесть! И все-таки, как и положено в хорошем повествовании, различные детали и здесь перекликаются. Через несколько писем мы узнаем, что валенки получены. И поллитровочка «была ритуально выпита привезшими ее — со мной и еще тремя офицерами. Так что мне едва досталась 1/6 ее, что свидетельствует об умеренности» (с. 269).

Да, Твардовский снова в пути — следом за войной и часто прямо в ее горниле. Мне, смолянину, особенно интересны были письма из-под Смоленска и из самого города той поры — разоренного, выгоревшего, жуткого, но живого вопреки всему. Хотя здесь на людях, переживших оккупацию, лежит тяжкий отпечаток. Твардовский встретился со своими родными и сумел поселить их в квартире в Запольном переулке. «Бедность, неустроенность тяжкая. Вместе с тем какая-то у всех, кроме Нюры, пассивность и спокойствие. Впрочем, может быть, действительно, немоготу» (с. 237).

И в следующем письме: «Основное ощущение войны — что она уже стала нормальностью для людей, что необыкновенным, трудно представляемым является не она, а наоборот» (с. 239). Война как норма.

Поздравляя Марию Илларионовну с днем рождения старшей дочери, поэт вдруг вспоминает, что дочь родилась именно здесь, в Смоленске. Это его самого удивляет: «Настолько здесь все иное» (с. 246).

Смоленск освобожден в сентябре 1943-го, но и в мае 1944 года ночью его бомбят.

В первую ночь, как приехал сюда, произошла зверская бомбежка, о которой тяжело даже говорить. Правда, все мои целы, но окна западной стороны дома высыпались, а сестре Нюре, находившейся на дежурстве, порядочно влепило ос-

татком оконной рамы (это в Красном Кресте) в голову. Она ходит, но, судя по тому, что была долго в бессознательном состоянии от удара, бог весть, чем это еще кончится. Бомбежке подвергся вокзал и прилегающие районы... (с. 254)

В Смоленске, в доме над Чертовым рвом, куда зимой, говорят, приходили и волки, поэт продолжает работу над «Теркиным» и еще одной поэмой, рожденной военным временем, начатой еще в Москве, летом 1942 года, — «Дом у дороги». Две поэмы шли у него в эти месяцы и годы. Хотелось бы тут пустить метафору возницы, но каждая поэма — целая стихия, и одного возницы мало совладать с такими-то горячими силами. Но так и было. «Не знаю, за что хвататься, хотелось бы и ту, и ту писать сразу, но силенок не хватает» (с. 151). Хватит, хватит его сердца. «Это будет — не знаю еще какая штука, но пишется от сердца, и я, наверно, не ошибусь в своих ожиданиях» (с. 228). Речь о второй поэме.

И тут само собой напрашивается сравнение с трудами далекого певца на Средиземном море: «Теркин» — как воинская «Илиада», ну а «Дом у дороги» — «Одиссея». Герой поэмы «Дом у дороги» Андрей, как Одиссей, возвращался на свою Итаку. У Одиссея в доме хозяйничали недруги, то же самое и у Андрея. Но судьба русской жены много горше: она оказывается и сама вне дома, в плену, в лагере в Германии, где на свет появляется и новый Телемак — сын Андрея. Как известно, Телемак пустился на поиски отца... Что станется с Андреем, его семьей? Поэт еще в Смоленске, в квартирке в Запольном переулке, посреди руин, и сам того не ведает. Он еще даже не уверен в названии: «Работал над той штукой, которую назвал (совершенно условно) “Дом у дороги”. Работал и над Теркиным» (с. 246).

И все-таки стихия «Теркина» уже далеко ушла вперед, и поэту оставалось вдохновенно за нею следовать, то есть — править, ведь он же возница. Дальше, дальше — по разбитым дорогам, среди обрушенных городов и сожженных сел, уже на чужбине, где все по-другому и все как-то скучно устроено. И поэта одолевает *физическая тоска* по родным местам: «Отсюда даже Литва кажется чем-то родным и приветным. Это трудно объяснить и почти невозможно выразить средствами словесного искусства» (с. 305—306).

Здесь не могу не поделиться одним эпизодом из жизни вблизи города Газни. Однажды через наш полк должна была пройти колонна афганских войск. Сопровождали ее советский советник с молодым офицером-переводчиком. Эти советник и его переводчик уже долгое время сидели в глухом афганском углу среди гор и не знали никого, кроме афганцев. Надо было видеть лицо этого лейтенанта-переводчика, зашедшего к нам в каменный домик КПП с двумя-тремя потрепанными книжками, с календарем на стене и чьими-то стихами. Он глядел во все глаза, слушал нас и был попросту пьян от всего этого, в чем и признался: «Ребята... вы не представляете... как тут у вас хорошо...» Для него в этом домике явилась частица нашего общего дома за тридевять земель. И когда колонна тронулась дальше, он с сожалением уходил, гасил сигарету, жал нам руки...

А средствами искусства Твардовский все же сумел это чувство выразить — в «Теркине»:

Мне не надо, братцы, ордена,  
Мне слава не нужна,  
А нужна, больна мне родина,  
Родная сторона!

И Теркин свершит свой ратный труд... то есть Твардовский. И тот, и другой. Твардовский и Теркин, как Сервантес и Дон Кихот, часто быстрее вспоминаешь героя, чем автора. Сюжет будет закончен победой. Она вспыхнет, как невеста, майской фатой салютов. Твоя невеста, Теркин. А Твардовского дома ждет жена.

Сюжет «Книги про бойца» неспроста завершается главой «В бане». У тех же древних греков смертоубийство — хотя бы и *за правое дело* — считалось деянием, оскверняющим суть и природу человека, и надлежало воинам после битв пройти обряд очищения.

До того, друзья, отлично  
Так-то всласть, не торопясь,  
Парить веником привычным  
Заграничный пот и грязь.

И дальше, в главе «От автора», первая же строфа уже чистым серебром звучит: «Светит месяц, ночь ясна, / Чарка выпита до дна...»



И в последних письмах Твардовский подводит итог этих кровавых, дымных, тяжких лет, рассуждает о том, что это и не поэма в обычном понимании, тем более не повесть: «Нет. Но вот так написана, написалась глава за главой эта штука» (с. 333). И «она останется как некая форма поэтической службы на войне» (с. 333).

А эти 139 писем стали необычной книгой любви и творчества во время войны. И завершить наши наблюдения лучше всего цитатой из последнего письма от 22 апреля 1945 года, отправленного из Инстербурга:

Я только очень устал и поизносился нервами. Мне кажется, что если б я сейчас поехал домой, то, едва перевалив границу, при встрече даже с литовскими березками заплакал бы в полном ослаблении духа. А уж подъехать к Москве, подняться к себе в квартиру, услышать дочерний писк и визг и увидеть тебя, моя милая старуха, что уж я и воображать избегаю покамест... (с. 337)

## Литература

*Акаткин В. М.* Финские записи А. Т. Твардовского в диалоге времен // Пятые Твардовские чтения. Смоленск: Маджента, 2010. С. 32–45.

*Алигер М.* Тропинка во ржи // Воспоминания об А. Т. Твардовском. М.: Советский писатель, 1982. С. 385–414.

*Кондратович А.* Александр Твардовский. М.: Художественная литература, 1985.

*Кудреватых Л.* Встречи с Твардовским // Москва. 1974. № 12. С. 200–210.

*Новикова О. А.* Литературный подвиг А. Т. Твардовского. К истории создания поэмы «Василий Теркин» // Восьмые Твардовские чтения. Смоленск: Маджента, 2014. С. 13–23.

*Твардовский А.* Письма с войны. 1941–1945. М.: Книжный Клуб 36.6, 2015.

*Твардовская В., Твардовская О.* Примечания // *Твардовский А.* Письма с войны. 1941–1945. С. 340–423.

*Трифонов Ю.* Записки соседа // Воспоминания об А. Т. Твардовском. С. 465–487.

*Федорова Н.* Писательская колония // Совершенно секретно. 2014. 25 декабря.

## References

*Akatkin V. M.* A. T. Tvardovsky's Finnish Notes in the Dialogue of Times // The Fifth Tvardovsky Readings. Smolensk: Madzhenta, 2010. P. 38. (In Russ.)

*Aliger M.* A Path in the Rye // Reminiscences about A. T. Tvardovsky. Moscow: Sovetskiy pisatel, 1982. P. 385–414. (In Russ.)

*Fedorova N.* Writer's Colony // Sovershenno sekretno. 25 December, 2014. (In Russ.)

*Kondratovich A.* Aleksandr Tvardovsky. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1985. (In Russ.)

*Kudrevatykh L.* Encounters with Tvardovsky // Moskva. 1974. Issue 12. P. 200–210. (In Russ.)

*Novikova O. A.* Literary Feat of A. T. Tvardovsky. How the Poem *Vasily Terkin* was Written // The Eighth Tvardovsky Readings. Smolensk: Madzhenta, 2014. P. 13–23. (In Russ.)

*Trifonov Y.* A Neighbour's Notes // Reminiscences about A. T. Tvardovsky. P. 465–487. (In Russ.)

*Tvardovsky A.* Letters from the War, 1941–1945. Moscow: Knizhniy klub 36.6, 2015. (In Russ.)

*Tvardovskaya V., Tvardovskaya O.* Comments // *Tvardovsky A.* Letters from the War, 1941–1945. P. 340–423. (In Russ.)